





# КОНСТАНТИН СИМОНОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ



МОСКВА

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5  
С37

Художественное оформление А. Дурасова

**Симонов, Константин Михайлович.**  
С37 Стихотворения / Константин Симонов. — Москва : Эксмо, 2024. — 352 с. — (Собрание больших поэтов. Стихи о войне).

ISBN 978-5-04-209548-1

«От Москвы до Бреста / Нет такого места, / Где бы не скитались мы в пыли...» Эти слова о военных корреспондентах в полной мере относятся и к их автору. «Военная тема», ставшая жизнью и судьбой Константина Симонова, вошла в его лирику не гротом артиллерии, а пронзительной мелодией, мужественной и нежной. Его стихи — о любви и верности, о доблести и трусости, о дружбе и предательстве — солдаты передавали друг другу и переписывали. Они помогали выжить. «...Как я выжил, будем знать / Только мы с тобой...» — писал Симонов. Книга избранных стихотворений поэта открывает читателю цельный и неповторимый художественный мир, созданный Константином Симоновым.

УДК 821.161.1-1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

© Симонов К.М., наследники, 2024  
© Оформление. ООО «Издательство  
«Эксмо», 2024

ISBN 978-5-04-209548-1

## ИЗ БИОГРАФИИ

Я родился в 1915 году в Петрограде, а детство провел в Рязани и Саратове. Моя мать работала то машинисткой, то делопроизводителем, а отчим, в прошлом участник японской и германской войн, был преподавателем тактики в военном училище.

Наша семья жила в командирских общежитиях. Военный быт окружал меня, соседями были тоже военные, да и сама жизнь училища проходила на моих глазах. За окнами, на плацу, производились утренние и вечерние поверки. Мать участвовала вместе с другими командирскими женами в разных комиссиях содействия; приходившие к родителям гости чаще всего вели разговоры о службе, об армии. Два раза в месяц я, вместе с другими ребятами, ходил на склад получать командирское довольствие.

Вечерами отчим сидел и готовил схемы к предстоящим занятиям. Иногда я помогал ему. Дисциплина в семье была строгая, чисто военная. Существовал твердый распорядок дня, все делалось по часам, в ноль-ноль, опаздывать было нельзя, возражать

не полагалось, данное кому бы то ни было слово требовалось держать, всякая, даже самая маленькая ложь презиралась.

Так как и отец, и мать были люди служащие, в доме существовало разделение труда. Лет с шести-семи на меня были возложены посильные, постепенно возрастающие обязанности. Я вытирал пыль, мел пол, помогал мыть посуду, чистил картошку, следил за керосинкой, если мать не успевала — ходил за хлебом и молоком. Времени, когда за меня стелили постель или помогали мне одеваться, — не помню.

Атмосфера нашего дома и атмосфера военной части, где служил отец, породили во мне привязанность к армии и вообще ко всему военному, привязанность, соединенную с уважением. Это детское, не вполне осознанное чувство, как потом оказалось на поверку, вошло в плоть и кровь.

Весной 1930 года, окончив в Саратове семилетку, я вместо восьмого класса пошел в фабзавуч учиться на токаря. Решение принял единолично, родители его поначалу не особенно одобряли, но отчим, как всегда сурово, сказал: «Пусть делает, как решил, его дело!»

Мы жили туго, в обрез, и тридцать семь рублей в получку, которые я стал приносить на второй год фабзавуча, были существенным вкладом в наш семейный бюджет.

Поздней осенью 1931 года я вместе с родителями переехал в Москву и весной 1932 года, окончив фабзавуч точной механики и получив специальность токаря 4-го разряда, пошел работать на авиационный завод, а потом в механический цех кинофабрики «Межрабпомфильм».

Руки у меня были отнюдь не золотые, и мастерство давалось с великим трудом; однако постепенно дело пошло на лад, и через несколько лет я уже работал по седьмому разряду.

В эти же годы я стал понемногу писать стихи. Мне случайно попала книжка сонетов французского поэта Эридия «Трофеи» в переводе Глушкова-Олерона. Затрудняюсь объяснить теперь, почему эти холодновато-красивые стихи произвели на меня тогда настолько сильное впечатление, что я написал в подражание им целую тетрадку собственных сонетов. Но, видимо, именно они побудили меня к первым прозам пера. Вскоре, после того как я одним духом одолел всего Маяковского, родилось мое новое детище — поэма в виде длиннейшего разговора с памятником Пушкину. Вслед за ней я довольно быстро сочинил другую поэму из времен Гражданской войны и постепенно приистрастился к сочинению стихов, — иногда они получались звучные, но в большинстве были подражательные. Стихи нравились

моим родным и товарищам по работе, но я сам не придавал им серьезного значения.

Осенью 1933 года под влиянием статей о Беломорстрое, которыми тогда были полны все газеты, я написал длинную поэму под названием «Беломорканал». В громком чтении она произвела впечатление на слушателей. Кто-то посоветовал мне сходить с ней в литературную консультацию — а вдруг возьмут и напечатают?

Не особенно в это веря, я, однако, не удержался от соблазна и пошел на Большой Черкасский переулок, где на четвертом этаже, в тесной, заставленной столами комнате помещалась литературная консультация Гослитиздата.

Я пришел вовремя — литконсультация Гослитиздата выпускала очередной, второй сборник молодых авторов под названием «Смотр сил».

Прочитав мое творение, консультант С. Ю. Коляджин сказал, что я не лишен способностей, но предстоит еще много работы. И я стал работать: в течение полугода чуть ли не каждые две недели заново переписывал поэму и приносил ее Коляджину, а он вновь заставлял переделывать. Наконец весной, решив, что мы оба совершили с поэмой все, что могли, Коляджин понес ее Василию Васильевичу Казину, который редактировал в Гослитиздате поэзию. Казин тоже признал мои способности, но поэму как тако-

вую отверг, сказав, что из нее можно выбрать лишь отдельные удачные места, или, как он выразился, фрагменты. И вот эти-то фрагменты, после того как я над ними еще поработаю, наверно, можно будет включить в сборник «Смотр сил».

Всю весну и начало лета каждый день, приходя с работы, я допоздна сидел и корпел над фрагментами. И когда я вконец изнемог под грузом поправок, Казин, казавшийся мне очень строгим человеком, вдруг сказал: «Ладно, теперь можно — в набор!» Сборник «Смотр сил» ушел в типографию. Оставалось ждать его выхода.

Летом, получив отпуск, я решил поехать на Беломорканал, чтобы увидеть своими глазами то, о чем писал стихи, пользуясь чужими газетными статьями. Когда я робко заговорил об этом в консультации Гослитиздата, меня неожиданно поддержали не только морально, но и материально. В секторе культмассовой работы нашлись деньги для этой поездки, и через несколько дней, получив триста рублей и добавив их к своим отпускным, я поехал в Медвежье Гору, где помещалось управление так называемого Белбалтлага, занимавшегося достройкой ряда сооружений канала. В кармане у меня лежала справка, в которой значилось, что Симонов К. М. — молодой поэт с производства — направляется для сбора материала о Беломорканале и что культмассовый сек-

тор Гослитиздата просит оказать означенному поэту всяческое содействие.

На Беломорканале я пробыл месяц. Большую часть времени жил на одном из лагерных пунктов неподалеку от Медвежьей Горы. Мне было девятнадцать лет, и в том бараке, где я пристроился в каморке лагерного воспитателя (тоже, как и все остальные, заключенного), никто, конечно, не принимал меня всерьез за писателя. Персона моя никого не интересовала и не стесняла, и поэтому люди оставались сами собой. Когда я рассказывал о себе и о том, что хочу написать поэму про Беломорканал (а я действительно хотел написать вместо прежней новую), к этому относились с юмором и сочувствием, хлопали по плечу, одобряли — «Давай пробивайся».

Вернувшись в Москву, я написал эту новую поэму. Называлась она «Горизонт», стихи были по-прежнему неудобоваримыми, но за ними стояло уже реальное содержание — то, что я видел и знал. В консультации мне посоветовали пойти учиться в открывшийся недавно, по инициативе А. М. Горького, Вечерний рабочий литературный университет и даже написали рекомендацию.

В начале сентября 1934 года, сдав приемные испытания, я нашел свою фамилию в длинном списке принятых, вывешенном в коридорах знаменитого «Дома Герцена».

Учиться первые полтора года было трудно; я продолжал работать токарем, сначала в «Межрабпомфильме», а потом на кинофабрике «Техфильм». Жил я далеко, за Семеновской заставой, работал на Ленинградском шоссе, вечерами бежал на лекции, а по ночам продолжал писать и переписывать свою поэму о Беломорканале, которая чем дальше, тем казалась длиннее. Времени на сон практически не оставалось, а тут еще выяснилось, что я гораздо меньше начитан, чем мне это казалось раньше. Пришлось, в срочном порядке, громадными порциями глотать литературу.

На втором курсе стало ясно, что делать сразу три дела — работать, учиться и писать — я больше не могу. Мне скрепя сердце пришлось оставить работу и перебиваться случайными заработками, потому что стипендий нам не давали, а стихов моих еще не печатали.

Вспоминая свои молодые годы, не могу не упомянуть о моих руководителях в поэтическом семинаре Литературного института Илье Дукоре и Леониде Ивановиче Тимофееве, и моих поэтических наставниках тех лет, Владимире Луговском и Павле Антокольском, сыгравших немалую роль в моей писательской судьбе. К этим людям я до сих пор испытываю огромную благодарность.

В 1936 году в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны мои первые стихи, а в 1938 году под названием «Павел Черный» наконец вышла из печати, отдельной книжкой, та самая поэма о Беломорканале, с первым вариантом которой я пять лет назад обратился в литконсультацию. Своим выходом в свет она не принесла мне радости, но — пока я ее писал и переписывал — научила меня работать.

Однако не публикация стихов и не выход моей первой книжки стали для меня той ступенью, шагнув на которую я почувствовал, что становлюсь поэтом. Это чувство точно и определенно связано у меня с одним днем и одним стихотворением.

Вскоре после того как газеты напечатали известие о гибели под Уэской в Испании командира Интернациональной бригады генерала Лукача, я вдруг узнал, что легендарный Лукач — это писатель Мате Залка, человек, которого я не раз видел и которого еще год назад запросто встречал то в трамвае, то на улице. В тот же вечер я сел и написал стихотворение «Генерал».

В нем говорилось о судьбе Мате Залки — генерала Лукача, но внутренне с юношеской прямоотой и горячностью я отвечал сам себе на вопрос — какой должна быть судьба моего поколения в наше революционное время? С кого лепить жизнь?

Да, именно так, как Мате Залка, мне хотелось прожить и свою собственную жизнь. Да, именно за это мне будет не жаль отдать ее!

В стихах «Генерал» хромали рифмы и попадались неуклюжие строчки, но сила чувства, которое было в моей душе, сделала их, как мне кажется, моими первыми настоящими стихами.

*Константин Симонов*

1978

## НАЧАЛО

*Из поэмы*  
«ПАВЕЛ ЧЕРНЫЙ»

\* \* \*

В начале тридцать второго в Карелию ехал  
Черный —  
Густо татуирован, жилист, немыт, небрит.  
Ехал он из Одессы, с любимого Черного моря  
На чортово Белое море. Чорт его побери!

Как раз в арестантском вагоне стукнул ему  
тридцатый.  
Стократно благополучно бежавшие от погонь,  
Были с ним вместе взяты в доску свои ребята,  
Прошедшие медные трубы, воду, водку, огонь.

Ехали долго и скучно: пять суток резались в карты;  
Сто раз прошли через руки деньги, жратва, табак...  
Вагон, как осенняя муха, полз по холодной карте,  
И Черному показалось, что дело его — табак!

Если глядеть в окошко: камень, камень и камень,  
Снег да кривые сосны, и кругом никого,  
Если вцепиться в решетку да потрясти руками,  
Услышишь запах железа и проклянешь его.

До теплой Одессы тыщи простуженных  
километров.

А вор все равно, что птица, серенький соловей, —  
Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,  
От холода и от клетки, от мыслей в своей голове.

Нету теплого дома... Кто виноват, что нету,  
Нету у человека печки, тепла, угла?  
Нету такого места, чтобы взял ты билеты,  
Уехал — и никакая власть тебя не взяла.

Говорят, что у маминой юбки самое теплое место,  
Что приятно со старым папкой в поддавки  
постучать.

Говорят, человек как кошка, любит старое место,  
Любит собственных шкетов на руках покачать.

Кто его знает? Ноги шли не на те пороги,  
Не пробовал Черный этих приятных и тихих  
штук.

Выбрать ему не дали. А на любой дороге  
У дырявых подметок одинаковый стук.

Как и других — родили, кинули в подворотню.  
Дворник нашел под утро. Пошевелил носком.  
Видит — живой мальчишка; выживет, будет  
работник,  
Скорей же всего подохнет. И сунул в сиротский  
дом.

Сиротский дом трехэтажный. В стенах глаза и уши,  
Если бывал — так знаешь. Не бывал —  
не поймешь!  
Давал император трешку в год на живую душу.  
«Смоешься — станешь вором. Не смоешься —  
так помрешь».

И вышла такая привычка: загнут на любом из  
следствий:  
«Что же это вас толкнуло? Кто папа и мама вам?» —  
Встанет Черный и скажет: «Очень приличное  
детство,  
Очень прекрасная мама, а воровал я сам!»

Наутро довез их поезд до самого края свету,  
Ссадил и поехал дальше, куда-то в тартарары.  
Взглянули на солнце — нету! Взглянули  
на звезды — нету!  
И нету на белом свете другой подобной дыры.

Кто-то сказал в молчанье: «Зовется город  
Сорока...»

И даже те, что успели приговор позабыть,  
Тут при помощи пальцев вновь сочтя свои сроки,  
Загрустили, что долго придется в Сороке быть.

Они прошли через город без песен и разговоров.  
Никто не кидался к окнам, не выбегал встречать:  
Мало ли на работу ведут через город воров —  
К ним раз навсегда привыкли и бросили замечать.

А если и замечали, то говорили мельком:  
«Снова ведут рабсилу...» И, уловив на слух,  
Воры, сердясь, считали это название мелким,  
Вставал на дыбы их гордый паразитарный дух.

Черный сказал с усмешкой: «Вот оно — Белое море.  
Если казенным сладким подавишься калачом,  
Если засохнешь с горя, если тоска уморит,  
Снегом тебя засыпет, и никто не при чем».

И повернули в поле. Вот бы сейчас самовара!  
Хватить бы по два стакана, по третьему наливать.  
Идут в шикарных пальтишках девчонки  
с Тверского бульвара,  
Их еще не успели переобмундировать.

Черный на них смеется, на моды их и фасоны.  
Он бы за них копейки ломаной не отдал.  
Но их манто и чулочки немного не по сезону.  
А это удачный повод, чтоб учинить скандал.

Черный подходит фертгом к заднему из конвойных  
И задухшевым тоном в ухо кричит ему:  
«Скидывай полушубок, поносил — и довольно;  
Девочкам пригодится, а тебе ни к чему!»

И конвоир внезапно смотрит в упор на вора,  
И оба стоят, как рыбы, широко разинув рты.  
Черному ясно видно, что это же Васька Ворон,  
Одесский уркан. И разом они произносят: «Ты!»

Но тотчас же вспоминают каждый свое  
назначенье,  
И конвоир снимает руку с его плеча.  
И Черный бьет его в ухо, отчасти для развлечения,  
Отчасти от горькой обиды, а более сторяча.

Но, подоспев, другие Черному крутят руки,  
Такие крепкие парни — они медведя сомнут —  
И, несмотря на силу и все одесские штуки,  
Черный надежно связан в каких-нибудь пять  
минут.

«Крепко ж вас откормили даровыми пайками!»  
Он с уважением смотрит на связавших его.  
Он для смеха поводит скрученными руками,  
Но эти грозные жесты не трогают никого.

Никто на него не смотрит, как будто на целом  
свете  
Только одно глухое похрустыванье шагов.  
Колонна идет в молчанье сквозь перекрестный  
ветер.  
И крыши первых бараков встают посреди снегов.

\* \* \*

В эту минуту Черный, закутанный в полушубок,  
Ругаясь, брел по лагпункту. Кругом — как в аду  
темно,  
Снег летит, как из пушки. Черный добрал до клуба,  
Свернул налево и стукнул в заснеженное окно.  
В пристроечке рядом с клубом, в симпатичном  
куточке  
О два окна с печуркой скоро уж год как жил  
Лагерный живописец, Яков Якович Точкин,  
С большим котом Еврипидом, с коим оный  
дружил.

Як Якыч был богомазом, всю жизнь он писал  
иконы  
Возрастом не моложе, чем пятнадцатый век.  
Издравле в Марьиной Роше на этом деле  
исконном  
Имел отличную прибыль усидчивый человек.

В доброе старое время все сходило прекрасно,  
Як Якыч жил содержимым купеческих кошельков.  
Потом купцы испарились, а он яичною краской  
Все так же писал Иисусов, апостолов, ангелков.

Но рынок сбыта сужался (музеи — их не  
обманешь).  
Иконы лежали годами... Як Якыч придумал плант,  
По коему можно быстро изжить пустоту  
в кармане  
И не оставлять втуне свой природный талант.

Он стал рисовать червонцы: купюры по пять  
и десять,  
Но если за фальшь в иконах бывал в старину он  
бит,  
То нынче за фальшь в червонцах давали по пять  
и десять;  
Як Якыч влип и поехал осваивать новый быт.